

От войны к миру (память послевоенного детства)

Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская

Война началась, когда мне исполнилось чуть больше года.

В тот день я сделала свой первый шаг. В воскресенье, 22 июня 1941 года, мама приехала на выходной из Ленинграда в Сестрорецк, где жила и работала учительницей моя бабушка. Ничего не слышавшая про объявление войны, бабушка с гордостью демонстрировала ей мои завоевания.

Я же, с трудом отрываясь от бабушкиного подола, протягивая руки к маме, улыбаясь во весь рот и сильно покачиваясь, направилась навстречу жизни.

А жизнью в то время был первый день войны.

Отец ушел на фронт. Мама с бабушкой не хотели покидать Ленинград, но я как годовалый ребенок подлежала обязательной эвакуации.

Выехав в июле 1941 года из военного Ленинграда, мы пережили все трудности эвакуации, бомбежки, голод, взорванные железные дороги.

Когда при обстрелах надо было выскакивать из до отказа набитой теплушки и прятаться где-нибудь в придорожном кустарнике, маме все чаще стали говорить: «Брось ты ее. Вон, как тряпка у тебя на руках висит. Куда ты с ней пойдешь. Только себя погубишь».

А мама, сама качаясь от голода, только сильнее прижимала меня к себе.

В начале 1942 года мама и бабушка, больные, изможденные, неся меня попеременно на руках и держа в руках бидончик с моими пеленками (все наше семейное имущество), прибыли, наконец, в Сталинабад, столицу Таджикистана, теперь она называется Душанбе.

Это красивый город между гор. Мне запомнились верблюды, которые медленно двигались и, вскинув головы, величаво плевались.



Фотография автора в 1944 году

Было солнечно, жарко, ноги жгло сквозь подошвы. Но главное впечатление – хотелось есть. Я даже пробовала пить жидкое мыло из темно-зеленой бутылки...

Ютились мы в передней деревянного дома, где с потолка текла вода.

Мама работала в больнице, куда привозили раненых. Иногда она брала меня с собой. Весь длинный коридор больницы был забит лежащими на койках.

Мама сразу же убегала в палату, а я оставалась здороваться с ранеными. Подходила к каждой койке, останавливалась, ждала, пока на меня посмотрят, и говорила: «Здравствуйте». Иногда раненые гладили меня по голове, протягивали руку или просто улыбались. После этого я шла дальше.

Иногда я видела только кровавые бинты и слышала стоны, тогда я долго стояла молча и ждала. С со-

седних коек говорили: «Иди, дочка. Иди дальше, он потом с тобой поздоровается».

На мое имя пришло письмо из Главного штаба. В нем говорилось: «Ваш отец Помарнацкий Андрей Валентинович удостоен ордена Красной Звезды».

У нас была одна жгучая мечта – конец войны и возвращение в Ленинград.

Как только с Ленинграда сняли блокаду, мы стали собираться – маму вызывало «ЛО». Я запомнила это «ЛО» на всю жизнь, оно нас звало домой. «ЛО» – это архивное управление Ленинградской области, где до войны работала моя мама.

Собрались мы быстро и в феврале 1944 года были снова в пути, теперь уже – домой!

Но в Москве нас долго не пропускали в Ленинград: «Там еще война!». И мы жили прямо на вокзале. Мама и бабушка ложились на пол, меня поместили в «Детскую комнату». Днем с нами занимались – мы ходили по кругу и пели. Вечером мама приносила два кусочка хлеба, тоненько помазанных маргарином, я жевала их молча, сосредоточенно.

В помещениях «Детской комнаты» ночью оставалась гореть только одна лампочка, и мне было страшно. Койки стояли вплотную. Я тихонько толкала девочку рядом, и она, не проснувшись еще, спускала вниз худенькие ножки. Проползая за ее спиной, я бежала по холодному коридору в «горшечную». А она, ссутулившись, сжавшись в комочек, ждала, когда я вернусь. В моем сердце и сейчас живет благодарность к этому маленькому надежному человечку.

В начале апреля 1944 года мы вернулись, наконец, в Ленинград!

Поезд прибыл рано. У вокзала было тихо и пусто.

Когда вдали я увидела Неву, то солидно констатировала: «Какой большой арык».

В небе над городом настороженно зависали аэростаты. Окна домов были заклеены крест-накрест полосками бумаги.

Мы шли и не знали, цел ли наш дом или его уже нет. Я тащила чайник, и бабушка сказала: «Не стучай чайником по земле. Он потечет, и нам не из чего будет пить чай». Я крепко сжала руку, подтягивая его выше. Очень старалась, ведь мы собирались дома пить чай!

Город поразили разрушенными домами. На одном из них была снесена вся фасадная стена, виднелся его разрез, как будто на макете.

На втором этаже, зацепившись ножкой, висела, покачиваясь, кровать. В глубине комнаты стояли стол, диван, а полдома совсем не было... Я увидела большую куклу, наверное, фарфоровую.

Мама стала меня торопить.

– Мы ведь возвращаемся из эвакуации домой. Был бы целым дом, а игрушки теперь у тебя будут, Наташенька.

Есть кукла, но нет дома. А девочка, которая с ней играла, спаслась ли во время бомбежки?

Этот образ навсегда застрял в моей памяти. Я не раз потом в своей жизни возвращалась мысленно к этой кукле, ее маленькой хозяйке и превратностям человеческой судьбы и счастья. Проблемы жизни и смерти вставали перед нами, еще такими крохами, во всей своей трагической таинственности и величавой непреложности.

Людей, казалось, в городе не было, но на улице Чайковского встретила женщина, она улыбнулась нам, потому что поняла: мы возвращаемся домой.

Наш дом с «шишечкой» – башенкой – стоял на своем месте, на углу улицы Каляева (ныне Захарьевской) и проспекта Чернышевского. Он и сейчас стоит, этот дом в стиле модерн с белыми кафельными плитками.

Мы вошли в дом и поднялись на седьмой этаж.

Когда-то, в 1920-е годы, эту комнату в коммунальной квартире получил мой отец. Ему нравилось, что она на «седьмом небе», потому что «он не думал, что у него родится дочка», – так сказал папа. А мама говорила, что ему просто понравился вид с седьмого этажа на изгиб Невы у Смольного монастыря.

Вернувшись из эвакуации, мы нашли комнату пустой, в углу валялись пружины от нашего довоенного дивана, который соседи сожгли в холодную зиму 1942 года. В окне не было рамы, не было и двери, на стене я попробовала пальцем незнакомый мне по Сталинобаду снег.

Бабушка говорила подбадривающе: «Ничего, деточка, это как в русской народной сказке, которую ты так любишь: “Стоит терем-теремок без окон, без дверей. Кто в тереме живет?”» В этом тереме будем жить мы.

Даже такая совершенно голая комната, по которой гулял ветер, была счастьем. Это наш дом в Ленинграде. Наш родной дом.

Когда не было воды, мы с бабушкой спускались в нижние этажи с бидончиками, и соседи наливали нам воду из крана. Иногда вода вообще не поступала в дом. Тогда жильцы дома тянулись гуськом к Неве. Спускались по камешкам отлогого невского берега, где теперь красуется гранитная набережная (в которую упирается проспект Чернышевского), и брали воду из Невы. Нам приходилось поднимать ее выше всех – на седьмой этаж.

Мы ждали Победы, верили в нее, каждый день слушали на улице, останавливаясь возле черных тарелок рупоров, сводки с фронта.

9 мая 1945 года у меня сильно болело ухо, наверное, простудилась в нашем, еще не обетованном жилище. Мама, запыхавшись, прибежала на седьмой этаж, схватила меня, замотала какими-то теплыми тряпками, и мы побежали к Литейному мосту, чтобы не опоздать на праздничный салют.

Люди стекались к мосту как огромная река, стекались по одиночке, по двое-трое, образуя собой мощный людской поток. Чувствовалось, что должно произойти что-то необыкновенное. Ждали салюта Победы.

Сам салют я тоже запомнила, теперь фейерверки бывают более яркие и пышные. Но тот победный, единственный в мире салют, конечно же, остался самым прекрасным салютом, какой мне довелось увидеть. Главное, все были вместе, много, очень много людей, весь Ленинград, и все счастливые, все обнимали и целовали друг друга, у всех текли слезы.

Все как одна большая семья, пережившая вместе столько горя и наконец в один день ставшая самой счастливой в мире.

Меня поднял на руки незнакомый военный, поднял высоко, чтобы я увидела Литейный мост и всех людей, которым тесно было на нем. Это был не полупустой изможденный Ленинград, а незабываемая картина величия, единения и всенародного ликования.

Я счастлива, что присутствовала или, лучше сказать, участвовала, да, участвовала всем сердцем, всей душой в этом незабываемом для всех ленинградцев, для всей России, всего Советского Союза дне – Дне Великой Победы.

Наверное, с тех пор осталось чувство доверия к людям. Дети военного времени испытали на себе не только все ужасы войны, но и всю доброту человеческого сердца в его самых тяжелых испытаниях.

После Дня Победы город на Неве стал быстро оживать. Вера в победу, в свою страну и ее людей – это тоже черта того поколения – поколения, пережившего войну.

В нашем доме, в крошечной комнатке на седьмом этаже, стали теперь жить наши друзья, возвратившиеся в Ленинград. Жили у нас учительницы Ильины, тетя Соня и тетя Маня, бабушкины подруги еще со времен ее молодости.

Жил одно время и мальчик Лодя (Володя), года на три-четыре старше меня. В дом, где он жил со своей бабушкой, попала бомба, и им стало негде ночевать.

Тетя Соня сшила мне куклу с меня ростом. Это была моя первая настоящая игрушка. Считалось даже, что у нее закрывающиеся глаза, хотя они были нарисованы чернилами на ее большом круглом лице из старого чулка. Лодя попросил себе такую же большую обезьянку, «можно без закрывающихся глаз».

Жила у нас Аня (Анна Александровна) Виленкина, с которой мама училась в университете до войны. Маминых подруг я называла по имени, как называли их мама и бабушка. Они разрешали так себя называть, потому что я «пережила войну».

Потом жила Анина сестра. Ей поставили железную койку «со роконожку» прямо посередине комнаты возле железной печурки.

Все это казалось очень домашним и уютным, после всех наших мытарств и скитаний.

Отдельная, да еще с печкой «буржуйкой», комната, где мы обогревали своих друзей! Садись к самой печке, смотри на огонь, как плясали языки пламени.

Мама работала с утра до поздней ночи...

Когда мама была на работе, я гуляла на пустыре перед домом. Бабушка выглядывала в окно и кричала: «Наташа!» Лица ее не было видно снизу, я бежала на бабушкин голос и махала ей рукой.

На пустыре стояла еще тогда церковь Святых Захария и Елизаветы, от которой произошло название улицы «Захарьевская». Построили ее при императрице Елизавете, дочери Петра Великого. После того как в здания, расположенные недалеко от нее, перевели казармы Кавалергардского полка, церковь стала полковой. В ней хранились полковые знамена, штандарты, а также Георгиевские кресты и медали, которыми награждались солдаты и офицеры.

В 1900 году Захарьевскую церковь в связи со столетием Кавалергардского полка перестраивал известный зодчий Леонтий Бенуа, а церковную утварь для нее создавали мастера фирмы Фаберже.

В дни моего детства рядом с церковью росла старая плакучая ива. Сама церковь была заколочена, но ленинградцы ее знали и рассказывали о ней много интересного. Например, что перед началом блокады ива раскачивалась и гнулась, что двери церкви, украшенные вставками из фигурных зеркал, вдруг вспыхивали ярким светом и тем помогали в темную блокадную зиму...

В послевоенные годы на пустыре недалеко от церкви мы находили кусочки зеркал и тончайшего расписного фарфора. Весной, когда начинали звенеть ручейки, осколки зеркал и позолоченного фарфора пускали солнечных зайчиков.

Я складывала из «этих стеклышек» свое имя и фамилию. Так литературная грамота постигалась мною с помощью волшебных осколков творений Фаберже...

В школу я пришла, умея читать и писать, бабушка научила меня этому в четыре с половиной года.



Плакат «А ну-ка, взяли!»

Для детей даже в то трудное время издавались книжечки, правда, совсем маленькие, на грубой шершавой бумаге.

Под обложкой со скрещенными прожекторами в книжке «Зеленые цепочки» рассказывалось о сигнальных знаках, сообщавших врагу, какие объекты в первую очередь следует бомбить в осажденном Ленинграде. Но дети, как и взрослые, были патриотами несломленного города на Неве. Многим из них удавалось замечать эти зеленые огоньки, предательски вспыхивавшие из подворотен или с крыш опускавшегося в темноту города.

Я по слогам читала эти маленькие книжечки о войне, о шпионах, о трудной и одновременно героической жизни ленинградских детей в годы блокады...

Еще больше я любила слушать, как читает бабушка. Тогда в один день мы прочитывали с ней сразу несколько книжек, и потом я пересказывала их маме, как только она возвращалась с работы. Мама уже с порога спрашивала: «Сколько прочитали? Шпиона уже поймали?»

Я сидела на маленькой скамеечке, прижавшись к бабушкиным коленям, и слушала. Она читала мне не только детские книжки, но и исторические повести, а также биографии выдающихся русских полководцев. Тогда выходила военная серия о Дмитрие Донском, Кутузове, Суворове и др.

Если она замолкала на секунду, я обнимала ее и, снизу загля-

дывая ей в глаза, торопила: «Чит! Чит! Чит, пожалуйста!» Когда за окном становилось темно, зажигали тусклую лампочку с самодельным абажуром под самым потолком. Бабушка говорила: «Теперь скоро Машенька придет». И мы, прижавшись к друг другу, ждали. Заслышав мамины торопливые шаги в коридоре, я срывалась и неслась ей навстречу...

Одно время я ходила в детский садик. Когда я болела, бабушка приносила из садика мой обед – два оловянных судочка, поставленных один на другой: с супом и перловой кашей. Ко мне все время что-то «липло»: то коклюш, то корь, то ветрянка, и мама решила забрать меня из садика и оставить дома с бабушкой.

Летом мама отправила нас в Сестрорецк. В годы войны в дом на Зоологической улице в Сестрорецке, где раньше в учительском доме жила моя бабушка, попала бомба. В воронке с обуглившимися бревнами шелестели листья маминых студенческих конспектов, торчала черная чугунная сковородка...

Бабушка очень скучала по Сестрорецку, она не могла без своих бывших коллег, у нее с ними было общее призвание. И она часто навещала в дом, где после войны стали жить учителя. Его называли «черным» – он был почерневшим от времени, бревенчатым, двухэтажным. Кончилось тем, что учительницы перевезли нас к себе в «черный дом».

Когда мы приехали в Сестрорецк, цветы иван-чая в Дубках были выше меня.

За вал на Дубковском шоссе ходить воспрещалось, на куске фанеры было написано: «Запретная зона».

От вала мы сворачивали к заливу. Курзал Курорта был разрушен, но его деревянный остов по-прежнему красовался ажурной резьбой балконов и веранд.

Несколько раз вечером, когда было уже поздно, мы видели, как на пляж возле Курорта вывозили инвалидов войны, молодых парней, у них не было ни рук, ни ног. Они громко смеялись, радуясь морскому воздуху и воде. Забыть это невозможно.

Война и здесь продолжала напоминать о себе: воронки вместо домов, доты, дзоты в Дубковском парке. Во дворах домов то и дело находили осколки снарядов.

Пленные в пятнистых маскхалатах убирали завалы.

Как-то раз я кормила бездомную собаку макаронами, которые прятала для нее в карманчик во время обеда. И вдруг совсем близко увидела лицо пленного, бледное, какое-то серо-зеленое, почти как его маскхалат. Он неотрывно смотрел на длинную макаронину. «Голодный», – мелькнуло у меня. Что такое голод я знала.

Макаронину поделила между Дружком и этим тощим, как привидение, немцем, протянула ему: «На». Лицо его как будто раздвинулось, и он улыбнулся синими глазами. Это было странно, «фриц» и улыбается как все. «У него, наверное, дочка такого же возраста, как ты», – сказала бабушка.

На улицах бабушку часто останавливали ее бывшие ученики. Она называла их всех по именам. Позади испытания войны, потери, а старая учительница в белой панамочке помнит все детские шалости и успехи своих питомцев.

В учительском доме, где мы жили, пахло прогретыми солнцем бревнами и было очень чисто: пол длинного коридора почти всегда оставался влажным, так как его постоянно мыли. Люди, только что вышедшие из испытаний войны, жаждали чистоты и красоты. Они не жалели на нее ни времени, ни сил. В коммунальных кухнях на грубых деревянных полках висели

трогательные бумажные занавески с фестончиками.

Перед домами сажали цветы. В некоторых палисадниках был душистый табак, вечерами в воздухе струился его сладкий запах. Чаше всего сажали скромные ноготки или настурции. Они желтели огненными пятнами в вазах на вокзале, в сквере напротив школы.

Самые красивые клумбы были разбиты перед заводом имени Воскова.

То, что инструментальный завод был основан Петром I и имел славную историю – здесь работал знаменитый оружейник, изобретатель русской трехлинейной винтовки Мосин, что рабочие завода ковали победу в годы Великой Отечественной войны, – знали в Сестрорецке все, от мала до велика.

После окончания смены на заводской двор высыпали с засученными рукавами и в парусиновых тапочках «фабричные девчонки», о которых так тепло написал потом в своей пьесе Александр Володин.

Завидев меня, они улыбались. Одна из них наклонилась ко мне: «У тебя глазки черные, ты их не моешь?» – поцеловала меня, а потом застеснялась.

Многие из этих девушек шли на завод из детских домов. Они с нежностью, которой им самим так не хватало, относились к послевоенным малышам.

С детьми в то время вообще обращались с большой нежностью и бережностью. Это доброе внимание согнувшихся ко мне совсем незнакомых суровых дядей и тетей, чтобы приласкать «военного ребенка», осталось во мне на всю жизнь как привет из далекого детства, как надежная поддержка, так необходимая человеку на протяжении всей его жизни.

На Сестрорецком заводе вскоре открыли библиотеку. В заводском клубе стали устраивать танцы. На гармонии играли в заводском саду «Ой, рябина кудрявая, белые цветы»...

Сняли, наконец, запретную зону в Петровских Дубках. В перспективе Дубковского шоссе, в арке, образуемой кронами дубов на фоне неба и залива, стали видны огромные валуны.

Слева от валунов, там, где речка Гагарка впадает в залив, соорудили

беленый обелиск с красной звездой, а поодаль – лодочную станцию. Туда приходило много народу: загорали, катались на лодках. На постаменте обелиска всегда лежали свежие полевые цветы, иногда ветки дуба.

Всех, кто не пришел с войны, хорошо знали. Для Сестрорецка они оставались живыми. Их мамы приходили к бабушке поговорить «о сыночке», которого уже не было.

С молодой учительницей Леночкой Даниловой мы ходили на кладбище, где был похоронен ее пятилетний Женечка, умерший в самом конце войны от общего туберкулеза.

На Дубковском шоссе стал работать кинотеатр «Прожектор», а рядом с ним – в длинном деревянном строении, сильно напоминавшем сарай, – первый послевоенный ресторан.

Бабушка однажды повела меня туда, и мы заказали макароны с котлеткой!

Это была скорее «столовка», как говорила бабушка, но у входа стоял медведь с подносом, что придавало некоторый шик и воскрешало дух ресторанных традиций старого Сестрорецка XIX века.

Когда мы уходили, швейцар в форме, расшитой позументами, пригласил нас вечером послушать музыку.

На другой день, сжимая в кулаке монетки, я прошла по ковровой дорожке и «заказала шарик эскимо».

Играл патефон, танцевало несколько пар. Женщина с женщиной. Потом поставили «Синий платочек», одна из женщин заплакала.

Я доела свой «шарик», сказала швейцару спасибо и, минуя буроного медведя, вышла.

На улице, у входа ждала бабушка.

Во дворе учительского дома играли в лапту.

Еще чаще играли «в войну». Командовал Юрка, у которого на фронте погиб отец.

– Женщин туда (то есть на войну) нельзя посылать, – авторитетно рассуждал Юрка, – вон, что с Зоей Космодемьянской фрицы сделали.

И добавил, глядя на меня: «А ты, если что, бей врага под коленку, он сразу грохнется».

Мы жили, примеривая себя к историческим испытаниям и событиям.

– Главное, – считал Юрка, – надо быть сильным и честным, чтобы на земле всех гадов убрать. А вдруг и нас на фронт позовут!

Что касалось меня, то я всячески боролось с собственной трусостью: выходила ночью в темный сад и, сжавшись от страха, передвигалась от одного дерева к другому.

Мама говорила: «Самая большая победа – победа над самой собой».

Когда в Сестрорецк приехал детский писатель Ленька Пантелеев* выступать в доме отдыха пограничников, попасть туда было невозможно.

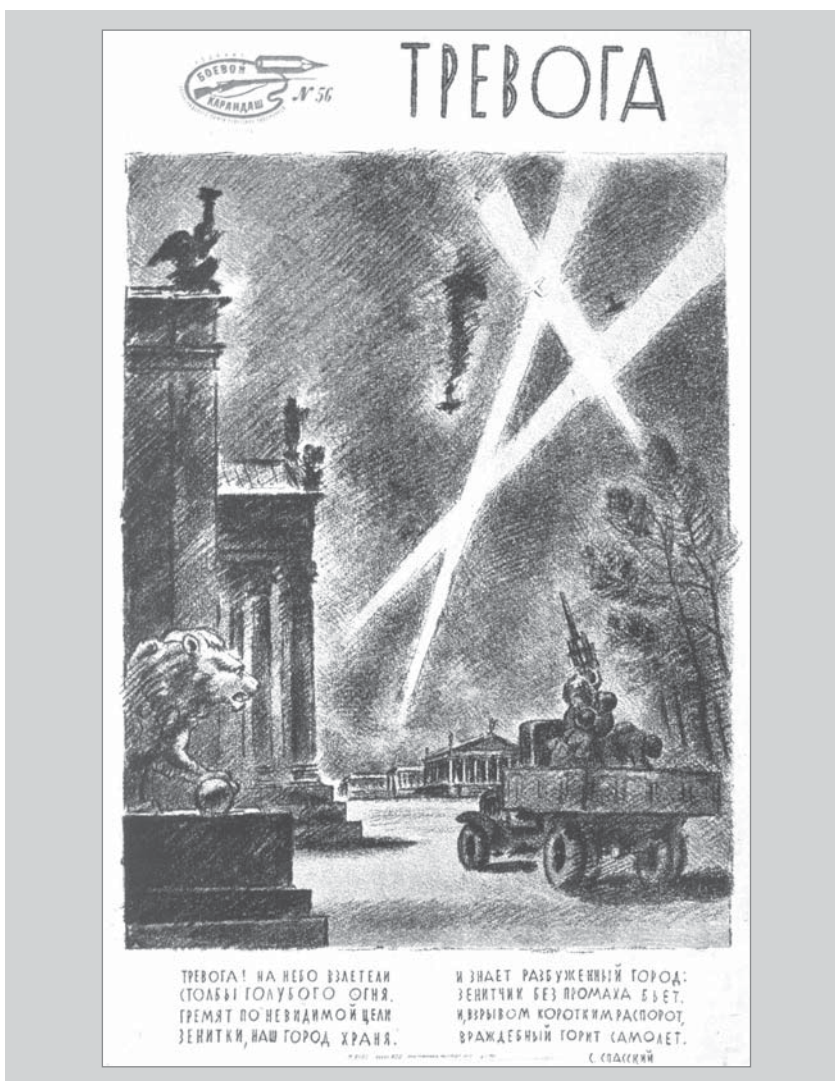
Выручила бабушка: «Сколько вас, – строго спросила она, – двое?» Оказалось, двенадцать. В назначенный час бабушка стояла перед воротами санатория в своей белой панамочке. За нею чинно выстроились мы. В результате охрана доложила начальству санатория, что пришла «детская делегация».

И хотя Ленька Пантелеев, к нашему немалому удивлению, оказался взрослым дяденькой, мы никак не нарушили торжественной тишины, царившей в зале. Он рассказывал о своей жизни, о беспризорном детстве, с которого началась его потребность писать.

Потом прочитал рассказ «Честное слово» – о том, что главное в человеке его честь. И этому надо учиться с детства. Чувство личной чести и ответственности, не может проявиться как-то «вдруг», само собой, оно требует большой работы души и большого мужества. Это хорошо понимали и моя бабушка, опытный педагог, и писатель Ленька Пантелеев, и военные пограничники, прошедшие Великую Отечественную войну. Потому-то и состоялась та встреча.

Она произвела на нас сильное впечатление, и мы стали готовить подарки военным-пограничникам, находившимся на лечении в Сестрорецком санатории. Мальчики вырезали, лепили и клеили пушки, самолеты и кораблики, а мы, девчонки, склеивали из открыток коробочки, которые собирались подарить военным.

* Соавтор знаменитой повести «Республика ШКИД», автор многочисленных произведений о Великой Отечественной войне. – *Ред.*



Агитационный лист «Боевого карандаша»

В конце лета мы с бабушкой вернулись в Ленинград. Когда вышли на Финляндском вокзале, сквозь клубы шипящего пара, который выпускал паровоз, на перроне увидели полусохранившийся еще с военного времени плакат: «Воин Красной Армии, спаси!»

Осенью мама стала брать меня с собой на восстановление города.

Она работала в архиве, заведовала отделом, который занимался выявлением чертежей разрушенных домов. Выявленные чертежи архив посылал в то учреждение, которое занималось строительными работами. Так, по первоначальным чертежам, быстрее шло восстановление города.

По субботам мама, Лодя и я ходили на расчистку завалов на местах разрушенных зданий.

Мы с Лодей вставали в общую цепочку наравне со взрослыми, передавая кирпичи. А взрослые,

улыбаясь, протягивали к нам руки, ожидая наш кирпичик.

Теперь на стенах домов Ленинграда появился новый плакат: «А ну-ка, взяли!»

Девушка с плаката предлагала всем проходившим помочь ей «взять» носилки с кирпичами, чтобы быстрее построить заново все разрушенные в блокаду ленинградские дома.

И мы помогали. Не битые, целые кирпичи складывали отдельными штабелями – это нужный строительный материал.

На Сенной площади, где мы работали, стоял настоящий боевой танк. Когда заканчивали разбирать кирпичи, мама разрешала нам с Лодей залезать на него.

Мы испытывали чувство гордости, что участвуем в общем деле – восстанавливаем наш родной город, – и ликующе махали с боевого танка красными флажками.